SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эссе «Как я сделался писателем?» (Нечто вроде исповеди) опубликовано по журналу «Русская школа» № 1, Спб. 1892 г. (с. 26–38).

- Как я сделался писателем?

Как я сделался писателем?
(НЕЧТО ВРОДЕ ИСПОВЕДИ)

Нынешней весной я получил печатное (следовательно, циркулярное) письмо от одного из членов совета С.-Петербургского комитета грамотности, г. Ледерлё. Письмо приглашало меня принять участие в составлении списка книг общеобразовательных и тех, которые произвели на меня наибольшее впечатление, т. е., другими словами, тех, которые послужили импульсом для моего нравственного или умственного развития. Эта задача навела меня на некоторые мысли, которые я считаю весьма полезным высказать всем, берущимся за подобные указания. Мне кажется, что здесь важна не книга, а те условия и обстоятельства, при которых она была прочитана, а главное, то душевное или умственное настроение, которое располагало читающего к тому или другому впечатлению. Всем известно, что при грустном настроении самые смешные, комические положения и сцены нисколько не кажутся смешными; напротив, при благодушном, смешливом настроении ум невольно ищет во всем, самом серьезном, комической жилки или сарказма.

Из книг на меня, 6—7-летнего ребенка, произвела сильное впечатление сказка Ершова «Конек-Горбунок», но это впечатление было чисто внешнее. Прежде всего и более всего сказка мне нравилась своей стихотворной легкой, ритмической формой. Она, без труда укладывалась в моем мозгу, в моей памяти. Многое я в ней не понимал, хотя и знал наизусть. Окружающие меня дивились моей памяти и рассказывали всем, что я знаю наизусть всего «Конька-Горбунка», что далеко не было правдой, — я знал только начало и конец, но не протестовал при заявлении о том, что я знаю сказку всю наизусть. Следовательно, первое впечатление, которое вызвало во мне литературное произведение, было вызвано его формой — ритмической гармонией слова. Предположение к этой ритмической форме сложилось гораздо ранее, чем сказка попала в мои руки, и первое влияние здесь вовсе не зависело от книги. Оно сложилось под влиянием живого лица и живой речи, и этим я всецело обязан моей старой няньке, крестьянке Наталье Степановне Аксеновой, личности весьма своеобразной и даровитой. Восемнадцати лет она вышла замуж и вскоре осталась вдовой, так как муж ее был взят в солдаты и, вероятно, погиб на войне в 1812 году. Хотя положение ее — вдовы-солдатки — освобождало ее от крепостного невольничества, но она охотно пошла в няньки в нашу семью и

оставалась в этой семье до конца своей жизни. Она последовательно вынянчила моих сестер и брата и постоянно выказывала нам такую теплую и сильную привязанность, как будто мы все были ее собственными детьми. Простая, необразованная, но много видевшая на своем веку, она самоучкой выучилась читать и писать и читала много, а главное, много знала наизусть, из старинных песен, баллад и рапсодий, знала целые строфы из «Светланы» Жуковского и, вообще, многое из поэзии двадцатых и тридцатых годов. В больших помещичьих семьях моих родственников она схватывала и усваивала на лету многое, на чем останавливалась жизнь подрастающих молодых поколений. Бывало, в долгие зимние вечера — когда все в доме уезжали и оставался я один с маленькими братом и сестрами, которые уже спали, — моя нянька, сидя за своим неизменным шерстяным чулком, напевала мне вполголоса чувствительную балладу, которая начиналась словами:

Сельски девушки цветут
Красотой природной,
А другую не найдешь
Машеньке подобной.

Конец баллады был крайне сентиментальный и трагический, и я помню, что я никогда не мог выслушать его без слез. Помню также старинную буколическую пастораль, также весьма сентиментальную, которая начиналась словами:

Лишь только занялась заря
И солнце осветило земной круг,
Пошла пастушка со стадом в луг,
К потоку чистых вод…

Большинство русских сказок я также узнал от моей няньки. И вот на эту уже подготовленную почву попал мне «Конек-Горбунок». Легкая форма стиха без труда схватывалась и удерживалась памятью семилетнего ребенка.

В восемь лет меня занимал театр Ленского и в особенности перевод его либретто оперы Цампы. И в этом обстоятельстве опять замешивается не одна книга, но семейные рассказы и музыка. В то время, более полувека назад, точно так же, как и теперь, занятия каждой интеллигентной семьи, кроме обычных житейских хлопот, забот и мелких развлечений, сосредоточивались на литературе и музыке. Рассказы отца и

матери об опере и балете на сцене Большого театра в Петербурге сильно затронули мое детское воображение. Я чуть не бредил Фенеллой (Muette de Portici), Кесарем в Египте и в особенности Цампой. Последняя опера еще потому имела на меня влияние, что любимой кадрилью тогдашней Уральской публики была кадриль из Цампы, а к этому присоединилось и другое обстоятельство — влияние моей старшей сестры от другого отца (П. П. Кондыревой), 18-летней девушки, чрезвычайно впечатлительной, умной, увлекавшейся литературой и поэзией. Романическая, оригинальная опера Цампы у меня звучала в ушах, и я делал кукольный театр, декорации и актеров из бумаги и разыгрывал эту оперу перед глазами моих маленьких сестер и нашей дворни.

Рядом с этим течением у восьмилетнего ребенка складывалось другое. Мне дали два или три тома (не помню наверно сколько) «Зрелища вселенной». Это было что-то вроде краткой энциклопедии из естественной истории с очень грубыми, старинными гравюрами. Я помню, внимание мое преимущественно останавливалось на необыкновенных грандиозных явлениях, в особенности со страстным вниманием и внутренней дрожью я зачитывался описанием извержений Везувия и вообще вулканических явлений. Точно так же привлекало меня описание раскопок Помпеи. Помню также, что мне очень нравились три томика с грубыми раскрашенными рисунками «Библиотека путешествий» (для детей) — и в особенности занимала меня трагическая судьба Джемса Кука и братьев Симона и Пьера, погибших в африканских степях.

Кто может решить, какое влияние на развитие моего ума и сердца имели эти книги? Что пробудили и что оставили они в моей душе? Рядом с ними меня занимал также и Ледрю-Роллен (чтение для юношества) и маленькое чисто детское собрание самых коротеньких биографий римских императоров и полководцев с очень плохими, маленькими рисунками. Я думаю: если бы вместо этих плохоньких биографий мне дали в руки Плутарха, то результат был бы более действительный и определенный, но и Ледрю-Роллен оставлял во мне сильные и прочные впечатления. Я увлекался подвигами Муция Сцеволы, Гракхов, Брута, Аннибала и Мария. Впрочем, во всякой книге наиболее сильное впечатление производили на меня картинки. Восьмилетний мальчик, я уже ясно сознавал разницу между художественно исполненной картинкой и плохой, лубочной литографией. Мне нравились не раскрашенные дешевые литографии, а художественно исполненные гравюры. В особенности оставила во мне сильное впечатление одна детская

книжка, какой-то сборник — вроде «Детского цветника» — с шестью или семью художественно сделанными гравюрами.

Понятно после этого, какое впечатление должны были производить на меня книги с рисунками в самом тексте, с политипажами. Отец мой выписывал «Живописное обозрение» (первый том). Но получавшиеся номера давались для прочтения только двум старшим сестрам (кончившим курс в Екатерининском институте) и затем тщательно прятались. На мою долю выписывался «Детский журнал», и ему я был очень рад и читал его с истинным наслаждением. Один раз отец получил, вероятно, в виде приложения к какому-нибудь журналу, пробный лист Дон-Кихота с роскошными политипажами. Этот лист был отдан мне. Я несколько раз прочел его и любовался политипажами, я даже лег спать с ним и на другой день счел первым долгом снова заняться им, забыв о французских «разговорах», которые неизменно угрожали мне каждый день. Это была старинная книжка, изданная в начале столетия, которая начиналась фразой: «Добрый день, государь мой!» и «Добрый день, государыня!». Все подобные фразы я должен был зубрить наизусть и говорить моей матери. На этот раз урок не был выучен, и несчастный Дон-Кихот Ламанчский полетел в открытую и топившуюся печь. Я смотрел с ужасом на это аутодафе и мысленно обвинял мою мать в святотатстве.

В десять лет мне нравились баллады Жуковского и поэмы Пушкина. Некоторые строфы из «Евгения Онегина» я знал наизусть, благодаря тому, что старшая сестра нередко повторяла их. Мне нравилось все эффектное, необычайное, но внутреннее достоинство стихотворения я еще не мог оценить. Мне нравились стихи (баллады), помещаемые в «Библиотеке для чтения» — Бернета, но точно так же нравились стихи какого-то малоизвестного автора, помещенные в «Сыне отечества» (тогда это был толстый журнал, конкурировавший с «Библиотекой для чтения» и «Отечественными записками»). Помню, что в этих стихах описывалась буря:

Вихрь спирал горами тучи
И волну на волну гнал,
Лишь порою огнь летучий
Мрак змеею рассекал.

По бурному морю плывет корабль. У руля стоит человек, который грозно взглядывает на небо, и буря вдруг утихает:

Пала буря, нет волненья,

Небо блещет, как алтарь.
Кто ж корабль спас от крушенья? —
Петр, России государь!

Вот какие банальные стихотворения мне нравились!!

На двенадцатом году меня перевезли из Екатеринбурга в Казань и отдали в пансион М. Н. Львова, директора 2-й Казанской гимназии. Литературная среда приблизилась и окружила меня. В пансионе получались все русские журналы и книги, которые выписывались для гимназии. Я сам начал писать стихи, и это совершилось вполне неожиданно для меня — экспромтом. Помню, раз ночью мне по обыкновению не спалось и в уме складывалось что-то вроде песни или рапсодии, весьма жалобной. Слезы стояли на глазах, а в ушах звучало:

Умерла я для света,
Умерла для утех,
Мне восемь лет еще было,
Как я мать свою
Провожала сюда
Во сыру землю.
Десять лет стукнуло,
Умер батюшка,
Мой родной отец,
Мое солнышко,
И осталась я
Сиротиночкой
В горе маяться
На белом свету.
С тех пор вяну я,
Как былиночка.
С тех пор сохну я,
Как трава в степи.
Одна радость мне
Лишь в мольбах святых
Изливать всю скорбь
Пред Спасителем.

Должно сказать, что тема эта была навеяна клирошанками, которых я видел в женском монастыре Казанской Божьей Матери, куда часто меня возили к обедне и ко всенощной. Няня моя говорила мне, что это — сироты, которых отдали в монастырь. Строгие, бледные, изнуренные постом лица этих девушек, в

остроконечных черных бархатных колпаках мне всегда внушали глубокое сожаление.

В тот год, в который я поступил в пансион, вышел 2-й том «Ста русских литераторов», и я помню, на меня производили сильное впечатление некоторые вещи, помещенные в нем, как, напр.: «Яков Моле» Каменского, «Сила воли» Надеждина или «Победа от обеда» Булгарина и «Осада г. Углича» Массальского. В пансионе я начал издавать свой журнал, разумеется, рукописный, в виде тоненьких маленьких тетрадочек, которые были подражанием «Отечественным запискам». В лице своем я соединял редактора, издателя и всех сотрудников. Теперь в моей памяти ничего не осталось из этого первого моего литературного произведения. Я помню только одно стихотворение весьма наивное и вполне подражательное, обращенное к луне…

В пансионе нас, воспитанников, разделяли на старших и младших. Я был в последних и более близок с неким Мухановым, который имел страсть к рисованию и довольно бойко рисовал карикатуры, даже политические, хотя значительно устаревшие, напр.: на Наполеона 1-го, танцующего трепака под звуки русской балалайки.

Из старших воспитанников, которые обращались с нами свысока, начальственно и покровительственно, на меня имел некоторое влияние наш пансионский поэт Лопатин — высокий, беловолосый 18-летний юноша с крупными чертами лица. Всегда сумрачный, молчаливый, это был очень скромный пансионер, вероятно, много мечтавший о своем поэтическом или, вернее говоря, стихотворном даровании. Один раз вечером я набросал маленькую сценку — расставание матери с сыном, и показал ее Лопатину, а он прочел ее всем старшим воспитанникам, и все находили этот рассказ замечательно талантливым. Разумеется, это было суждение незрелых молодых критиков о юном, наивном произведении.

Вспоминая теперь эти первые, можно сказать, детские впечатления моей литературной жизни, я должен сказать, что ничто на меня не действовало так сильно в ту пору, как картинность, образность и эффект вымысла или изложения. И это прямо, я думаю, вытекало из моего пристрастия к картинкам и рисованию. На меня особенно влияли иллюстрированные издания, как, напр.: «Живописное обозрение» или «Картины света». До сих пор удержались в моей памяти такие эффектные произведения, даже в простом политипаже, как «Снятие со креста» Рубенса, «Дети Эдуарда IV» — Гильдебрандта или «Фрегат «Медуза» — Жерико. Но всего сильнее привлекали меня мастерские, бойкие иллюстрации Тимма. Я, помнится,

восхищался маленькими книжонками «Корнет» и «Салопница» Булгарина и «Петергофский праздник» Мятлева. Почти все политипажи я перерисовал пером, а «Петергофский праздник» выучил наизусть. Я думаю теперь, что меня привлекала к этим маленьким рисункам необыкновенная бойкость, талантливость и изящество карандаша. Теперь все это не редкость и стало обычным, заурядным явлением. Но тогда это было единственным, по крайней мере, в нашей русской художественной литературе произведением.

Таким образом, мои художественные стремления шли всегда впереди моего литературного вкуса и руководили им. Другого руководителя в это юношеское время у меня не было, да его не было и во всю мою жизнь. В течение трех лет, проведенных мною в гимназии, я отдалился от этих художественно-литературных стремлений, и вся гимназическая жизнь, как это ни странно, прошла в стороне от литературы и искусства. Между моими товарищами не было ни одного, который мог бы повлиять на мое художественно-литературное развитие, а мои учителя… но здесь я позволю вставить два портрета этих учителей, и пусть сам читатель судит, могли ли они быть руководителями.

В сороковых и пятидесятых годах рисование считалось чем-то вовсе не нужным для гимназического образования и входило в программу гимназического курса, по наследственному преданию, в виде одного урока в неделю. Учителем рисования у нас был академик, который в то же время был и преподавателем в университете. Это был молодой человек, низенький и толстенький или, правильно говоря, «кругленький», bon-vivant, на которого почти вся городская молодежь, корчившая из себя аристократов, смотрела как на приятного малого. К искусству он относился пренебрежительно-холодно и совершенно рутинно. В гимназии он отбывал рисовальные классы, как казенщину. Я учился у него частным образом живописи масляными красками и ничему не мог выучиться. Понятно, что такой учитель не мог быть руководителем и развить любовь к искусству.

Учитель русской словесности был еще хуже: среднего роста, довольно худощавый брюнет, с жиденькими бакенбардами, с подвижными чертами лица, сутуловатый, конфузливый, постоянно озиравшийся по сторонам, смотревший на всех волком, легко красневший от всякого волнения и страдавший запоем. Его классы проходили для нас незаметно. Он молча садился на кафедру, очень редко спрашивал урок и обыкновенно читал принесенную с собой книгу. Очень часто кто-нибудь из учеников подсовывал ему какую-нибудь смешную повесть или рассказ с просьбой: «Руф Глебыч, прочитайте, пожалуйста, уморительно

смешно!» И Руф Глебыч берет книгу и читает вслух целому классу то, что уморительно смешно, и целый класс дружно хохочет. Руф Глебыч был другом малоизвестному поэту И. Тимофееву и сам себя воображал поэтом, но вдохновение очень редко посещало его. Когда я был в V классе, то ему было поручено советом написать к торжественному акту обеих казанских гимназий стихи. Я должен был произнести эти стихи на акте и до сих пор помню их и помню тот пафос, с которым произнес их в первый раз, весь красный, захлебываясь от волнения, Руф Глебыч:

Отрадно нам видеть участие ваше
В развитии слабых умов,
Оно для питомцев всех радостей краше,
Как солнце для вешних лугов.
Оно поощряет сильнее стремиться
К возвышенной цели наук.
Восторг просвещения и в вас пробудится,
Для славы откликнется звук.
И наш просвещенный, монарх наш державный
Найдет в нас усердных сынов,
Достойных питомцев
Руси православной,
Надежду и с верой — любовь.
Порадуйтесь с нами, отцы и родные,
Пролейте молитву к Творцу,
Что мы в этом храме пьем чары святые
С Любовию к Богу Отцу…
Наш ум развернется и свет просвещенья
Зажжется, как пламень в груди….
Теперь же мы просим от вас снисхожденья —
Не будьте к нам слишком строги…

Я привожу здесь эти пустозвонные стихи как образчик официального вдохновения нашего руководителя в области родной литературы. В этом руководительстве, очевидно, нельзя было найти ничего поучительного и увлекающего. Сам Пуф (как мы звали нашего учителя) представлялся нам в виде пустой, потешной книги, к которой никак нельзя было относиться серьезно.

Таким образом, весь мой гимназический курс прошел бесследно для моего литературного развития. Из всех моих товарищей не нашлось ни одного, который относился бы к русской литературе с любовью. Из всех книг, которые в эту пору удавалось мне прочесть или просмотреть, ни одна не захватила

ни моего внимания, ни моих симпатий.

Мы сидели втроем на первой скамейке. Я в середине, а по обеим сторонам от меня сидели гимназисты, которых фамилия начиналась с буквы «Б». Справа сидел сын ремесленника-стекольщика, крайне добрый, рассудительный малый, относившийся ко мне с искренней привязанностью. Но у этого товарища не было никаких «Anlagen» к художественным вопросам. С одной стороны, его занимало все религиозное и нравственное, а с другой — все практическое, утилитарное. Сосед мой слева, высокий и очень скромный малый, был такая непосредственная бездарность, от которой всякая художественная тенденция отскакивала, как от резиновой пробки.

Сзади меня, на следующей скамье, сидел один гимназист весьма живого характера, который интересовался литературой, но только весьма своеобразно. Небольшого роста, крепкий, здоровый, с круглым лицом, с большой головой, на которой коротко остриженные волосы торчали ежом, он был в постоянном саркастическом настроении, которое изощрял на других гимназистах, преимущественно на моем соседе, или на собственном соседе, Гогулине, очень симпатичном уродце с огромными горбами на груди и на спине. Из всей литературы он постоянно отыскивал скабрезные или порнографические места, и если это были стихи, то выучивал их наизусть и цитировал при всяком удобном и неудобном случае. Разумеется, я весьма благодарен судьбе, что такое отрицательное направление не привилось ко мне.

В последнем классе гимназии меня начала увлекать одна страсть, которая вскоре поглотила меня всецело и крепко держала в своих когтях почти целых десять лет.

Я говорю о страсти к энтомологии или, вернее, к собиранию насекомых и составлению из них коллекций. Понятно, что все другие привязанности отошли на второй план, но моя подвижная, увлекающаяся натура не могла остаться равнодушной к тому течению, которое тогда охватило литературные вкусы нашей малоразвитой и еще меньше думающей публики. Я говорю о пристрастии к эффектным, но, в сущности, пустым французским романам Ал. Дюма и его подражателя Поля Феваля. В нашей литературе тогда подходили несколько к этому направлению романы Вельтмана — «Приключения из житейского моря», «Чудодей» и роман Некрасова и Станицкого — «Три страны света».

Впечатление, производимое этими романами, еще усиливалось от того, что они читались, как новинка, в семейном кругу, где общий интерес захватывал каждого и увеличивался

общим настроением. До чего был возбужден этот интерес, можно судить по следующему случаю. По окончании курса в университете, приехал в Казань проездом в Вятку мой товарищ Дмитрий Пятницкий, с которым мы были неразлучны во все четыре года нашей студенческой жизни. В Казани Пятницкий должен был пробыть всего один день, но мы начинаем с ним читать «Трех мушкетеров», на что потребовалось целых два дня с утра до вечера, и он с наслаждением, забывая, что его ждут в Вятке, слушает этот роман.

За «Тремя мушкетерами» следует «Двадцать лет спустя», и этот роман мы поглотили в два дня и одну ночь таким образом, вместо одного дня, Пятницкий пробыл у меня около пяти дней, разделяя вполне мое увлечение фабулой романов французского талантливого романиста.

В течение моего гимназического курса я перечитал довольно много книг, которые попадались мне под руку, но ни одна из этих книг не производила на меня такого сильного впечатления, как французские романы Дюма в русском переводе Строева. Несколько лет спустя я мог читать Дюма в подлиннике, так же, как все французские книги. И в это время судьба послала мне целую французскую библиотеку. Это было в деревне, у моего дяди, бывшего попечителя Виленского, а затем Казанского учебного округа Е. А. Грубера. Но прежде, чем попались эти книги, случай указал мне повесть Гончарова «Обыкновенная история». Этой повестью сильно восхищался мой сослуживец, учитель Нижегородского дворянского института Е. Т. Андреев. Помню, что и мне также весьма понравилось это талантливое произведение нашего даровитого романиста, но только конец повести мне в то время казался неподходящим. Мне казалось, что Александр Адуев, по возвращении в деревню и после того, как он побывал с матерью у всенощной, непременно должен был сделаться аскетом и пойти в монахи. Такой романический конец казался мне, 20-летнему юноше, более правильным и логичным, чем обращение Адуева от молодых романических грез к трезвой прозаической жизни. Тогда я не мог понять, что именно меня отталкивало в Петре Ивановиче Адуеве, но теперь я очень хорошо сознаю, что единственный положительный характер во всей повести был характер несчастной Елизаветы Александровны, и этот характер бросал очень резкую тень на Адуевых — на дядю и племянника.

В деревне моего дяди я познакомился со многими произведениями французской литературы, но любимым автором все-таки оставался Ал. Дюма. Мне нравились его драмы и в особенности «Антоний» с его мрачным романическим характером.

Я даже перевел эту драму в несколько дней и мечтал поставить ее на сцене. Из повестей мне в особенности нравились «Sylvandire» и «Подвенечное платье», над которым я, помнится, плакал горькими слезами.

Около этого времени, а именно в 1851 году, одно обстоятельство в моей жизни имело сильное влияние на склад моих убеждений. В 1851 году лето я прожил в Петербурге и в конце августа должен был вернуться в Казань. В это время я простудился, схватил воспаление желудка и около трех недель провел в постели. За мной ухаживал мой зять, который в это время, вместе с сестрой, возвратился с Лондонской всемирной выставки. Сестру сильно тянуло в Казань, а я был до того еще слаб, что с трудом двигался по комнате; притом из Петербурга мне вовсе не хотелось уезжать. И вот, при этом безвыходном положении, не имея возможности получить помощи от обыкновенных человеческих сил, я обратился к помощи иных высших сил и горячо молился, чтобы мне была послана необходимая крепость. По возвращении в Казань я еще долго находился под влиянием этого аскетического настроения, и здесь в первый раз в жизни я взял в руки Евангелие с желанием познакомиться, насколько можно основательно, с учением Христа. Помню, чтение первого Евангелия произвело на меня сильное и тяжелое впечатление, и только Евангелие от Иоанна примирило меня с Небом.

Но вскоре началось совершенно противоположное течение, в другую сторону. Окруженный в Казанском университете, где я занимал место адъюнкта, молодыми профессорами, моими товарищами, из которых теперь не осталось ни одного в живых, я невольно подчинился их влиянию и начал вдумываться в простое и великое учение великого Учителя, причем многое казалось мне в то время исполненным противоречий, которых я не мог примирить.

В 1854 году я был в Москве, прожил там довольно долго и под влиянием Сергея Тимофеевича и Константина Аксаковых сделался, впрочем ненадолго, ярым славянофилом. Впоследствии от этих славянофильских тенденций у меня осталось только одно убеждение в необходимости общины не как экономического, но как связующего общественного элемента.

В 1858 году вся маленькая молодая партия казанских профессоров переселилась в Москву, вслед за ними и я оставил Казанский университет и примкнул к этим товарищам казанской университетской жизни. Благодаря моему зятю, профессору Киттары, я пристроился при двух редакциях: журнала «Сельского хозяйства» и «Промышленного листка». В это время начал и

завершился перелом моих убеждений. В это время я был сильно увлечен «Письмами об изучении природы» и «С того берега». Многое было для меня неясно. Под влиянием Бюхнера, Фохта и Молешотта я написал мою критическую большую статью под заглавием «Мильне Эдвардт и природа». В ней было немало вещей недодуманных и неверных, но она была яркой противоположностью того слишком узкого романтизма, который проводил в своих воззрениях известный французский зоолог.

Этому направлению я долго оставался верен, — целых 14 лет, вплоть до 1874 г., когда медиумические факты убедили меня в том, что оно неверно.

Я начал слишком рано печатать мои литературно-научные произведения. В 1848 г., будучи студентом третьего курса, я вступил в сношения с редакцией «Русской иллюстрации», которая находилась тогда в руках Башуцкого, и напечатал в ней два первых небольших популярно-научных очерка: «Жуки атехви» и «Жуки могильщики». Кроме них, я послал в редакцию целую тетрадку ребусов, из которых она многие напечатала в течение года. Послал также несколько карикатур на русские пословицы, которые неизвестно почему не были напечатаны.

Затем, в течение восьми лет, мои литературные силы дремали, и только в 1856 и 1857 годах они проснулись, оживленные энергией К. Ф. Рулье. Я напечатал три довольно больших научно-популярных статьи в «Вестнике естественных наук». В последующие годы я обдумывал планы некоторых повестей и четырех драм, но ничего не написал из задуманного, а начал два рассказа, из которых на одном сильно отразилось влияние Герцена. Эти рассказы лежат до сих пор неоконченными.

В 1868 г. вышел перевод первого тома сказок Андерсена. Читая похвальные и даже восторженные отзывы об этих сказках в наших журналах и газетах, я купил их и прочел. Многие из них мне также понравились, но многими я был недоволен, находил их слабыми и задал себе вопрос: неужели я не могу написать так же или лучше? Таким образом, задача была задана, и в течение трех лет я написал около дюжины сказок, которые и составили первое издание «сказок» «Кота Мурлыки». Но во время этой работы меня отвлекла другая. Должно сказать, что тогдашнее (1864 г.) материальное положение ординарного профессора было весьма не блестяще. В 1869 году появилось объявление об издании «Нивы». Журнал предлагал премию в тысячу рублей за повесть из русской жизни. Я решился попробовать свои силы. Сюжет повести сложился очень быстро. Было выставлено два характера «Темный и Светлый», и повесть носила это название. Я написал ее в два месяца. Отделав и переписав первую часть, я прочел отрывки из

нее четырем товарищам. Успех этих отрывков превзошел все мои ожидания. Товарищи, между которыми был один профессор русской словесности, единогласно хвалили ее и никак не советовали посылать в «Ниву». Она появилась потом в «Русской Мысли» под названием «К свету».

Таким образом я сделался писателем, и если бы теперь кто-нибудь мне предложил вопрос: какая книга сделала на меня наибольшее впечатление и развила мое дарование, то я принужден был бы сказать: «никакая». Живые люди, живая речь на меня действовали гораздо сильнее, чем всякая книга. Сказки Андерсена нашли во мне уже готовую почву; она была заложена с детских лет. Она была воспитана моею нянькой, старшей сестрой. Вокруг меня все было, так сказать, проникнуто этой интеллигентной музыкально-поэтической атмосферой. На столах нашей квартиры постоянно лежали или повести Марлинского, или поэмы и стихотворения Пушкина, или баллады Жуковского. Я мог читать ad libitum, любую книгу, но в каждой книге я искал чего-нибудь необыкновенного фантастического, страшного или остроумного, смешного. В этих стремлениях и в этой среде проходили мое детство, отрочество и моя юность. Я помню, меня сильно занимала глупейшая китайская сказка Рафаила Зотова «Цын-Киу-Тонг». Я помню также, что в 14 лет я собирал моих братьев, сестер и чужих детей, усаживал их в зале и целые часы рассказывал им экспромтом какую-нибудь бесконечную сказку, в которой не было ничего кроме фантазии. Моя маленькая аудитория с увлечением слушала эту сказку и на другой день усердно приставала ко мне и просила ее продолжения. Мое дарование всецело сложилось под влиянием окружавших меня людей и условий жизни. Книга если и играла здесь какую-нибудь роль то весьма второстепенную.